
Вера КАЛМЫКОВА

«СДРКРЧ», ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Я носитель языка. Как хочу, так и ношу.

Полина К., 17 лет

Название статьи — акроним фразы «С днем рождения, короче» — взято из лексикона пользователей социальных сетей. А эпиграф — из реальной речевой практики одиннадцатиклассницы... Кстати, спасибо лингвисту Нине Валеевой, указавшей, что существует и канонический вариант: «Что хочу, то и несу». Однако Полина К., боюсь, его не знает...

Разные способы сказать одно и то же без утраты смысла, основываясь на каламбурной многозначности слов «носить» и «носитель» и получая при этом дополнительные смысловые приращения, безусловно, свидетельствуют: игровой потенциал русской лексики и грамматики сегодня так же велик, как и в прошлые времена. Наличие игровых возможностей обеспечивает наличие пластических, а это, в свою очередь, свидетельствует о свободе — и языка, и его носителя, который *освобождается языком* в той мере, в которой, по М. Хайдеггеру, «язык говорит нами», а не только мы используем его. О связи между языковой игрой и личной свободой говорил еще З. Фрейд в начале книги «Остроумие и его отношение к бессознательному», ссылаясь на труды предшественников, среди которых был, в частности, немецкий поэт-сентименталист Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763—1825).

Упоминание *о поэте* здесь не случайно. Издавна складывалось так, что поэтическое творчество оказывалось тем полем, на котором язык реализовывал себя в широчайшем спектре возможностей. Поэты образуют новые слова, поэты ищут новые виды языковой пластики. Недаром сочинение стихов как на своем, так и на чужом языке издревле было учебной дисциплиной в высших учебных заведениях — в России с XVII века и до большевистской революции 1917 года. Поэтам же, наряду с философами и лингвистами, принадлежат и убедительные попытки концептуализировать язык как средство общения прежде всего. Последняя по времени попытка такого рода была предпринята Осипом Мандельштамом в статьях разных лет.

С точки зрения Мандельштама, *русский язык обладает эллинистической природой*. Эту мысль настойчиво проводил Вячеслав Иванов, но корни ее в русской культуре значительно более глубоки. Свой язык мы получили от «учителей словенских» Мефодия и Кирилла (Константина Философа), и в его основе лежит библейский, или новозавет-

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

ный, или святоотеческий койне, который, в свою очередь, сложился в эллинистическую эпоху как результат слияния множества эллинских диалектов, различия между которыми были стерты уже в эпоху завоеваний Александра Македонского. Графика современных русских букв — наглядное свидетельство родства. Но нельзя сбрасывать со счетов арамейские и древнееврейские влияния, отразившиеся на грамматических формах, и не учитывать силу славянского элемента — не меньшую, чем эллинского.

В самой Элладе со времен Платона существовал, как известно, перешедший в русскую культуру миф о Гиперборее. Вне зависимости и от того, где могла располагаться мифическая страна, и от того, что современные ученые не подтверждают возможности ее существования на Урале, идея в русской культуре укоренилась и выразилась, в частности, в «Памятнике» Г. Р. Державина. Согласно мифу, в культурном плане Русь и Россия — прямые родственники и непосредственные наследники эллинов.

Эллинизм для Мандельштама *почти* то же самое, что и для Александра Македонского, — это универсальная система гуманистических ценностей. *Почти* — потому что взаимодействие этих ценностей для поэта есть *тайна*, о чем сын Филиппа и Амона вряд ли думал. При сопряжении различных культурных явлений и смыслов выделяется «телеологическое тепло», передающееся читателю и создающее то самое напряжение, которое и делает поэзию и живой язык непосредственно и радостно воспринимаемыми. Уже в сравнительно раннем и не полностью дошедшем до нас тексте «Скрябин и христианство» (<1917>) великий композитор определен как русский эллин: «Скрябин — следующая после Пушкина ступень русского эллинства, дальнейшее закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа. Огромная ценность Скрябина для России и для христианства обусловлена тем, что он безумствующий эллин. Через него Эллада породнилась с русскими раскольниками, сожигавшими себя в гробах. Во всяком случае, к ним он гораздо ближе, чем к западным теософам. Его хилиазм — *чисто русская жажда спасения* (выделено автором. — В. К.); античного в нем — то безумие, с которым он выразил эту жажду» (I, 202¹). Однако эллины, замечал далее Мандельштам, боялись музыки и больше доверяли слову, выставляя его как противоядие «подозрительной и темной стихии». Как только культура приняла музыкальное начало, эллинство стало христианством: «Собственно чистой музыки эллины не знали — она всецело принадлежит христианству. Горное озеро христианской музыки отстоялось после глубокого переворота, превратившего Элладу в Европу» (I, 203).

Позже, в статье «О природе слова» (<1920–1922>), Мандельштам отметил пагубность выявления причинности, дискредитировал теорию прогресса, особенно в литературе, и предложил «говорить только о внутренней связи явлений», пробовать «отыскать критерий возможного единства — стержень, позволяющий развернуть во времени разнообразные и разбросанные явления литературы. Таким критерием единства литературы данного народа, единства условного, может быть признан только язык народа, ибо все остальные критерии сами условны, преходящи и производны. Язык же, хотя и меняется, ни одну минуту не застывает в покое, от точки и до точки, ослепительно ясной в сознании филологов, и в пределах всех своих изменений остается постоянной величиной, „константой“, остается внутренне единым. Для всякого филолога понятно, что такое тождество личности в применении к самосознанию языка» (I, 219–220). Если мы переведем выражение Мандельштама на язык современных понятий, то «тождество личности» очевидно будет означать то же, что Пушкин именовал *самостоянием*, а мы сегодня называем *самоидентификацией*.

Далее у Мандельштама идея эллинистичности русского языка звучит крещендо: «Русский язык так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных при-

¹ Здесь и далее произведения поэта цитируются по изданию: Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 4 т. М.: АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР, 1993–1999.

месей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний. Но в одном он останется верен самому себе <...> Русский язык — язык эллинистический». О том, что механизм возникновения новозаветного койне и русского примерно одинаков, Мандельштам не писал, но это и так понятно; возможно, спецификой процесса и объясняется *всеотзывчивость* русского, вытекающая из его синтетической природы.

К 1920 году вопрос о печально знаменитом имяславии, разгромленном в 1913 году, увы, утратил актуальность практически для всех, кроме нескольких религиозных философов — и поэта Мандельштама. «Имябожцы-мужики», как они названы в стихотворении «И поныне на Афоне...» (1915), полагали творящую силу в Самом Имени Бога, что дало основание Мандельштаму говорить о слове-плоти. Способность подозревать — или прозревать — связь явлений, обозначенных не только родственными, но и просто похоже звучащими словами, осталась с ним до конца, и здесь это *плоть-воплощение-полнота*. «В силу целого ряда исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад эллинским влияниям и надолго загощаясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью. <...> русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка <...> Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явлений, полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть *плоть деятельная, разрешающаяся в событие*». Это утверждение сделано, как представляется, на основе знания Мандельштамом истории русской литературы XVIII—XIX веков, когда литература заменяла и философию, и психологию, и другие области гуманитарного знания, нарождавшиеся на Западе и отсутствовавшие в России.

«Поэтому русский язык историчен уже сам по себе, так как по всей своей совокупности он есть волнующееся море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти. Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному назначению. Русский номинализм, то есть представление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской филологической культурой не этимологически и не литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущей им обоим». Номинализм Мандельштам понимал в том же смысле, что и последователи киника Антисфена в античности и средневековье: это учение о чувственном опыте как основе познания предметного, эмпирического мира, объективной реальности, что подтверждается в мандельштамовской поэзии множественными отсылками к пяти чувствам. Этот же фактор — способность поэтического высказывания вызывать реакцию пяти физических чувств, то есть физиологическую реакцию организма — следует учесть при разговоре о «плоти» слова.

«Всяческий утилитаризм (то есть *назывательность* и *прикладное назначение*. — В. К.) есть смертельный грех против эллинистической природы, против русского языка, и совершенно безразлично, будет ли это тенденция к телеграфному или стенографическому шифру ради экономии и упрощенной целесообразности или же утилитаризм более высокого порядка, приносящий язык в жертву мистической интуиции, антропософии и какому бы то ни было всепожирающему и голодному до слов мышлению» (I, 220—221). Противопоставление номинализма и того явления, которое здесь обозначено как утилитаризм, является скорее историческим противостоянием философских систем номинализма и реализма, признававшего объективное существование духовных сущностей вне обозначающих их слов.

В то время как *плотью языка* для Мандельштама стали фонетика и грамматика, лексика для него оказалась квинтэссенцией структуры и формы, единицей социальной и ментальной архитектуры: «У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории» (I, 225).

Именно тот фактор, что русское слово обладает собственной плотью и особой *плотностью*, позволил Мандельштаму фактически отождествить язык нашего народа и его историю: «Столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. „Онеменение“ двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова» (I, 222). Страшнее отлучения от языка для русскоговорящего человека и тем более писателя, по Мандельштаму, ничего нет и быть не может.

Интерпретируя идеи поэта, Г. Ч. Гусейнов в статье «Античность и античные мотивы в творчестве О. Э. Мандельштама» для первого тома «Мандельштамовской энциклопедии» (М.: РОСПЭН, 2017) сделал вывод, что русский язык как эллинистический, во-первых, замещает всякую социальность, а во-вторых, преобразует эллинизм на русской культурной и языковой почве. Получается, что эллинистичность для Мандельштама — понятие и эстетическое, и историческое.

Вооруженные мандельштамовской концепцией, проанализируем современную языковую ситуацию с нескольких точек зрения. По-прежнему ли наше родное наречие способно выразить связь явлений? Служит ли оно, как раньше, заменой социальности? Наконец, в какой степени нам, сегодняшним носителям, грозят обрыв, утрата исторического бытия и прочие ужасы, которыми чревато отпадение от языка?

Сразу оговорюсь: меня мало тревожит то, что принято сегодня квалифицировать как катастрофическое падение культуры речи. Страстно любя точность и ясность мышления, я с наслаждением пользуюсь афоризмом Татьяны Соколовой, одного из лучших московских редакторов: «Россия — страна, победившая всеобщую грамотность», — однако более для красного словца, чем совершенно разделяя ее пафос. Ибо разговорная речь всегда и в любой язык вносит центробежный вектор; ибо с утратой вертикально-пирамидальной структуры общества и его переориентацией на горизонтальную ось утрата ощущения нормы как *высокого* образца неизбежна; ибо система образования у нас шатается; ибо... ибо...

Но и глубже: в свое время писания Данте, отдавшего предпочтение разговорной речи, корифеями воспринимались как крамольные. Спустя несколько веков творения романтиков приводили в ужас авторитетных ценителей, приходивших в ужас от засилья в языке — чего? Элементов разговорной речи.

За последние примерно 35 лет русскому языку довелось *усвоить* и *присвоить* несколько лексических пластов, описывающих явления, не выросшие на нашей национальной почве. Это нормально: с приходом в одну культуру чего-либо родившегося в другой заимствуются и названия. Попытки подобрать обозначения, основываясь на русской лексике, комичны — как «внимаю» вместо «алло» при ответе на телефонный звонок.

Нынешнее общество, расплывающееся по горизонтали, подобно информационному морю, в котором плавают отдельные острова-кластеры, образованные людьми,

близкими по области деятельности или интересам. В каждом кластере имеется свой жаргон. В большей или меньшей степени он понятен членам других кластеров и под- ходит для общего пользования. Отслеживанием *погодных* (от «год», а не «погода») изменений языка занимаются авторы «Словаря перемен» (группа существует с 2011 го- да), работающие над анализом лексических поступлений или внезапной активизации уже существующих. Так создается языковой портрет эпохи. Например, согласно иссле- дованиям, «словом года» в 2007 году было «гламур», 2008 — «кризис», 2009 — «пере- загрузка», 2010 — «жара/огнеборцы», 2011 — «полиция», 2012 — «Болотная», 2013 — «госдура», 2014 — «крымнаш», 2015 — «беженцы», 2016 — «брекзит»².

Существует и точка зрения, согласно которой новые слова при наличии, казалось бы, «старых» синонимичных отражают и новую картину мира, включающую какие- то ранее отсутствовавшие обертона. Вот что в одной из соцсетей написала Ирина Левонтина:

Когда мы чувствуем, что жизнь изменилась, то старые слова уже не выражают нашего понимания жизни. Очень часто мы этого не замечаем. Например, когда по- явилось слово «хайп», то многие удивлялись: зачем нужен «хайп» и почему он стал так популярен, если уже есть «ажиотаж». Но язык — очень мощный инструмент. Если слово прижилось, значит, за этим стоит какой-то процесс. И действительно, сей- час колоссально изменилась скорость оборота информации. Раньше — в XIX веке — какой-нибудь писатель использовал слово «нигилизм» в своем романе. Потом ро- ман поехал на тройке в имение, там его прочли, написали письмо. Затем вышла ре- цензия. Сейчас информация распространяется в геометрической прогрессии. И слово «хайп» выражает нечто похожее на «ажиотаж», но совсем другое по ощущениям. <...>

Иногда какое-то свое слово берется, и нафталин из него вытряхивается. Как сло- во «вечеринка». Оно ведь совсем устарело, его нельзя было использовать, и его упо- требляли разве что в переводной литературе. Потом вдруг оно реанимировалось и победило другие варианты.

Что касается заимствований, то особенно объемны три лексических пласта, связан- ных с тремя процессами, начавшимися в России в связи с изменением политической, со- циальной и культурной ситуации — падением «железного занавеса», до поры до вре- мени символически отделявшего нас от западного мира. Это лексика, связанная с:

- 1) компьютерной сферой;
- 2) бизнес-сферой;
- 3) общением в социальных сетях.

Примеры для первой и третьей групп всем известны, поскольку все мы в той или иной мере являемся пользователями компьютеров, а некоторые и *геймерами*, и приво- дить их нет нужды. Оговорюсь, что заимствование и русификация новых лексем идет по законам отечественной грамматики: корень иноязычный, словообразовательные модели и аффиксы родные, проверенные. «Пост» (новый текст в соцсети или републи- кация чужого текста) — «постить» — «перепостить»; «мем» (любая единица информа- ции) — «мемчик» и др. Нет, например, глагола «мемить» — он некрасив: эстетическая функция тоже работает. Есть точка зрения, будто интернет-жаргон порой напоминает офенский язык; однако офени были закрытым сообществом, а сетевое общение пред- полагает широчайший круг пользователей. То же происходит, например, в области спорта, откуда в наш язык приходят калькированные «кайт», «серфинг», «борд» и др. Интересна судьба слова «дзеппинг», обозначавшего быстрое нажатие кнопок на телевизионном пульте при желании посмотреть, что на какой программе показывается. Поскольку телевизор вытеснен компьютером, то и слово не прижилось (а жаль).

² С деятельностью группы читатель может ознакомиться здесь: <https://goslitmuz.ru/news/157/5712>

Особого внимания заслуживает бизнес-лексика, не так широко распространенная в связи с ограниченным кругом лиц, использующих ее в профессиональном обиходе. Слова «блокчейнинг», «коворкинг», «копирайтер», «кэшбек», «лиды», «майнинг», «оффер», «проктеризация», «скетч», «супервайзер», «эйчар», даже «митинг» и «клининг» и др. непонятны подавляющему большинству россиян вне бизнес-сферы. Русские суффиксы *-ар-* и *-инг-* — кальки аналогичных английских, правда, за давностью лет уже прижившиеся в языке. Однако и эту ситуацию можно принять как типичную для нашей социально-языковой культуры, вспомнив профессиональные аргы.

Среди разных пластов профессиональной лексики встречаются чрезвычайно интересные новообразования, возникающие на основе различных языковых процессов. Так, в аргы автовладельцев и автомехаников встречаются слова «гайец», «гибддун», см.: «даер», «доер», «доярка», образованные от аббревиатур или основы глаголов «доть» и «доть» суффиксальным способом; сотрудник ГИБДД, стоящий на посту, может обозначаться как «волнистый попугай», «гей», «партизан», «подосиновик», «памятник»³ — это переосмысление лексического значения. Увеличение мощности двигателя за счет установки турбины, компрессора и др. называется в этом аргы «фаллопротезированием» (корень + целое слово), удаление катализаторов в выхлопной системе — «кастрацией», присадки в двигатель — «амфетаминами»⁴.

Что здесь главное? Думается, не ассоциации с телесным низом — они просто, как и в любую эпоху, служат неизбывным источником комического. Но вот что радует: в каждом случае заметен образный компонент, и роль его значительна.

По-прежнему отличается образностью и разговорный язык. Об этом свидетельствуют недавно появившиеся образования, отписывающие разную степень глубины впечатления от чего-то извне: «меня *зацепило*» (привлекло внимание), «в меня *попало*» (меня затронуло), «мне *зашло*» (воздействовало на меня).

Следующей приметой времени, обращающей на себя внимание в современной языковой ситуации, стала макароническая речь, *смешенье языков* — у Грибоедова было «французского с нижегородским», сегодня это скорее английский, зачастую с тем же нижегородским. Нормальным становится вопрос «Как вы предпочитаете *коммуницировать*?» или утверждение «Надо иметь *пруфы*» (доказательства). И если слово «коммуникация» еще может восприниматься как укорененное в русском, хотя формулировка и звучит несколько неуклюже, то уже для «пруфов» нужно все-таки минимальное знание английского. Таким образом, макаронические вставки делятся на две группы: для всех — и для «посвященных» хотя бы на самом примитивном уровне.

Интересно, что одно и то же явление выглядело комично в прошлом и воспринимается как норма в настоящем. Вспомним образ профессора Выбегалло из повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Макароническая речь была дана этому персонажу как авторское стилистическое доказательство лженаучности его теорий: «Как-никак, а же суизан рекомедатель сет нобль ве. Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексион...» («Сказка о Тройке»).

Еще одна характерная для нашего времени черта — крайнее недоверие ко всем случаям употребления слов в переносном значении, даже если оно зафиксировано в словарях. В их число попадают даже пословицы и поговорки, не говоря уж о метафорах. Тенденция охватывает, как говорится, широкие, нет, широчайшие слои населения, практически все, в которых человеку приходится что-нибудь писать, — от школьников до научных работников. Редакторы и педагоги часто сталкиваются с такими случаями (из этических соображений цитирование исключено). Однако на помощь вновь приходят Стругацкие с той же «Сказкой о Тройке»:

³ Более подробно см.: <https://golifehack.ru/avtosleng>

⁴ <https://www.drive2.ru/b/545688>

— <...> Саша, что такое детский сад?

— Детский сад? Детский сад... — Я подумал. — Детским садом называется организация, которая заботится о детях дошкольного возраста, пока родители заняты на производстве.

— Спасибо, Саша, — сказал Федя, и по его тону я понял, что он не удовлетворен.

— А что там написано? — спросил я.

— «У меня аптека, а не детский сад...» — по слогам прочитал Федя.

— Ясно, — сказал я. — Заведующий китежградской аптекой подвергается принципиальной критике за то, что препятствует выдвижению молодых кадров. Так?

— Кажется, так, — сказал Федя неуверенно. — Но я все равно не понимаю... Аптека — это магазин, где продают лекарства... Вы знаете, Саша, я стал понимать даже хуже, чем раньше. Он что хотел сказать, что не хочет продавать лекарства детям дошкольного возраста, пока их родители заняты на производстве? Тогда он прав, они же маленькие, не понимают... А молодые кадры — это просто молодые люди... Да, правильно, здесь есть такое слово. Кад-ры. Вот оно. Нет, не понимаю.

— Заведующий хотел сказать, — пояснил я, — что ему в аптеке нужны опытные работники, а не молодые люди, которых он фигурально сравнивает с детьми дошкольного возраста.

— А, — сказал Федя. — Тогда другое дело. Как же можно сравнивать? Тогда он не прав. Молодые люди — скажем, вы, Саша, — это одно, а маленькие дети — это совсем другое. Правильно его критикуют. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда человек хочет сказать одно, а говорит совсем другое. Помните, когда Говорун назвал Спиридона старой дубиной? Зачем? Ведь Говорун хотел сказать, что Спиридон недостаточно понятлив, и хотя это тоже совершенно неправильно, потому что Спиридон, по-моему, самый понятливый из нас, что в общем неудивительно, если учесть, сколько ему лет, но совсем уж непонятно, почему нельзя было именно так и выразиться, не прибегая к уподоблению такому совершенно постороннему, решительно не имеющему к делу никакого отношения веществу, как дерево. Или я ошибаюсь? — Он с некоторой тревогой наклонился и заглянул мне в глаза.

Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам придется забираться, как трудно будет объяснить, что такое метафоры, иносказания, гиперболы и просто ругань, и зачем все это нужно, и какую роль здесь играют воспитание, прищипки, степень развитости языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое юмор, и что такое такт, и представив себе все это, я ужаснулся и горячо сказал:

— Вы совершенно правы, Федя.

Если вспомнить, что персонаж по имени Федя — снежный человек, Говорун — клоп, а Спиридон — спрут, то аналогия перестает быть смешной, а начинает несколько пугать.

Тенденцию обозначать как *чужое слово* любое не прямое название, включающее хотя бы толику образности, следует упомянуть как иллюстрацию общего недоверия к языку как таковому. Процесс этот глубок и проявляется в первую очередь в восприятии поэтических произведений. Сегодня кто только не пишет стихов, но что это за стихи! Графомании никогда мало не бывает, но раньше, насколько известно, ее не отмечали премиями и прочими наградами — а сейчас это происходит. И поэтому можно утверждать, что русская культура впервые за три с небольшим века перестала быть поэзоцентричной: настоящих стихов, как правило, не понимают, а значит, и не читают.

Наконец, отдельного разговора заслуживает герметизация профессиональной лексики литературоведов и литературных критиков, то есть людей, чья работа должна служить мостом между писателем и читателем. Эту тенденцию неоднократно отмечал Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя» и автор статьи «Птичий язык» в книге «Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям» (М.: Время, 2007). На своей странице в сети «Фейсбук» Чупринин неоднократно делился находками в указанной

области, в частности: «постап-роман», «нативность», «компульсивно-ритуальные кивания», «эмержентное чтение», «инсталляционное усилие», «юзабильная картина», «трендсеттер», «аппроприационные практики», «бук-арт» (не смешивать ни с «трелвел-буком», ни со «смэш-буком», ни тем более с «софт-буком») и др. О том же в романе «В долине блаженных» писал Александр Мелихов:

Умерщвление прodelывается с большим умом. Для начала истребляются слова «поэма», «роман», «новелла» — все становится текстом, как у болванов от кибернетики все на свете от «Лунной сонаты» до расписания работы уличного сортира превращается в информацию, — для начала надо все перемешать, фалернское с мочой и мед с дегтем. Затем выжигается едва ли не главный источник обаяния несчастных «текстов» — чарующий образ их создателя: автор умер, боги умерли, поэзия умерла, одни они, мертвецы, живут и торжествуют. Но даже эти упыри догадываются, что живой человек способен полюбить лишь другого живого человека, поэтому всех творцов нужно изобразить тоже мертвецами, — «скриптор», каким они его стараются представить, не страдает, не радуется, не натирает ноги, не шлепается в грязь, не карабкается на вершину — он лишь перерабатывает одни «тексты» в другие, подобно самим мертвецам.

Я долгое время был убежден, что они делают это сознательно, из унылой ненависти тупиц и уродов к красавцам и гениям, однако, будучи поставлен в необходимость ежеутренне соприкасаться со своей дочерью, я убедился, что самое прекрасное в мире — слова — пробуждают в ней не образы солнца, тьмы, ледяной воды, горячего ветра, не голоса людей и псов, раскаты грома и визг бензопилы, не глаза, губы, волосы, шелковую или шершавую кожу, не царапучий снег или мокрый асфальт с радужными разводами, каким-то чудом обретающимися в слове — и только в слове! — высшую красоту и иллюзию смысла, — но исключительно другие слова: тексты ассоциируются только с текстами, закорючки с закорючками, знаки со знаками...

Странная закономерность: чем прекраснее греза при жизни, тем отвратительнее ее труп. Нет ничего прекраснее слов. Но когда они вместо восхитительных, захватывающих образов начинают порождать лишь другие слова, — это даже не трупы, а их отслаивающиеся ногти, осыпающийся эпителий... Но мертвецам того-то и подавай. Нет, самые честные из них вовсе не притворяются, они именно любят мертвое. Потому-то они с таким наслаждением и констатируют смерть всего, что имеет наглость жить: смерть автора, смерть произведения, смерть героя, смерть субъекта... Хотя на самом деле умерли только они сами. Если только вообще когда-нибудь рождались. Правда, дочка довольно долго казалась мне живой. Особенно в ту пору, когда я пару раз в день непременно обмирал, наткнувшись взглядом на ее Женин профиль. Но сейчас она не живет ни единой минуты, она безостановочно интерпретирует. Ее супруг уже давно почти не тратит слов на творчество — ему достаточно зевнуть, икнуть, пукнуть, почесаться, и мир мертвецов тотчас же будет оповещен, что пустота есть нейтральная поверхность дискурса, отрицающего логоцентризм, а трансгрессия есть разрушение границы между допустимым и анормативным в стремлении к пансемиотизации метаязыка симулякров в паралогических, номадических, ацентрических интенциях деонтологизированной интертекстуальности. Впрочем, стихи он зачем-то иногда пописывает, именуя их уже не поэмами, но проектами: все-таки полную пустоту он втюхивать еще не решается, хотя его дежурная интерпретаторша уже поговаривает, что молчать и воздерживаться от речи далеко не одно и то же («Молчание как умолчание», «Молчание как категориальная сакральность», «Молчание как бытийственность интенциональности», «Телесность бессловесности», «Молчание как экспликация чистой формы»), а устаревшее слово вполне может быть заменено творческим жестом в духе дзен-буддизма. Впрочем, ее поставщик и не пишет, а экспериментирует со словом — то у него по четыре слога в каждой строке, то... Впрочем, я сразу засыпаю, как только его снисходительная улыбочка самоупое-

ния округляется в розовый анус. Нет ничего скучнее предсказуемого эпатажа, анти-нормативности, сделавшейся нормой.

Да и смысл словосочетаний «актуальная литература» или «актуальное искусство» в целом ускользает от сознания или кажется тавтологичным: мало что сегодня актуальнее древнемесопотамской или древнеегипетской литературы... Фрагмент из романа Мелихова, однако, помогает проиллюстрировать связь профессионального литературоведческого арго с постмодернизмом, появление которого в отечественной словесности имеет множество причин. Тут желание и отмежеваться от советского опыта, и приобщиться, напротив, к опыту западному, и отчасти результат развития отечественной гуманитарной науки в 1960-х годах — в том пункте, где она посредством статистических и прочих методов искала сближения с точными и естественными. В нашей стране постмодернизм не вырос естественным путем. Есть вопрос, остается ли он в современном литературном процессе ведущим направлением? Есть ли в нем смысл? Насколько соответствуют его канонам те произведения, которые мы сегодня считаем русской литературой?.. Соцреализма больше нет. Борьбаться с ним незачем. Так стоит ли застревать на методе борьбы с прошлым, выдавая его за настоящую методологию?

Литературоведческая терминология, кажется, явно формируется по модели бизнес-лексики и приводит к диглоссии, при которой гуманитарно образованная часть общества, мыслящая себя интеллектуальной элитой, разговаривает на языке, недоступном остальным. Складывается парадоксальная ситуация: профессионалы, сама цель существования которых — *объяснить читателю литературу*, вырабатывают методологию, исключаящую самую возможность объяснения. Напрашивается вывод, что критика и литературоведение сегодня претендуют на самоизоляцию, герметизацию процесса своих занятий, отгораживаясь от «простого читателя». В этом смысле использование слов, заведомо не понятных никому за пределами сообщества, помогает его членам находиться за пределами досягаемости.

Приведенных примеров достаточно для объяснения, что такое «рунглиш» — русский английский язык, состоящий из англицизмов, в той или иной степени укоренившихся в русском. В рунглише допускаются буквальные кальки английских синтаксических конструкций и идиом без переосмысления по-русски. Языковая пластика, безусловно, страдает, поскольку сочетаемость слов падает. Разумеется, рунглиш бытует не только в профессиональной филологической сфере, но здесь его существование особенно наглядно. Возможно, по мысли создателей рунглийского литературоведения, процесс должен привести к появлению лингва-франка — единого наднационального языка профессионального общения под лозунгом «Критики всех стран, соединяйтесь!». Однако все же у этой гуманитарной дисциплины иные задачи, имеющие мало общего с областью «чистого искусства».

Пугающее нежелание общаться с предполагаемой аудиторией выразилось в создании некой «Теории литературы два», о которой в первом номере журнала «Вопросы литературы» за 2019 год опубликована статья Валерия Тюпы «„Теория литературы Два“ как гуманитарная угроза». Вот рекламный текст из сетевого ресурса, проясняющий содержание статьи:

Всякая наука представляет собой интеллектуальную традицию и одновременно социокультурную институцию. Рамки институции и традиции никогда не совпадают вполне, но в ядре своем эти ипостаси обычно совмещаются. Что касается традиции, то научное познание при всей своей жажде обновления глубоко преемственно. Говоря так, я сознательно противоречу Ролану Барту, провозгласившему, что «собственно научным является лишь стремление разрушить предшествующую науку».

Конечно, физика Галилея вытеснила физику Аристотеля, а физика Эйнштейна заменила собой физику Ньютона. Однако в этих процессах не было разрушения — было переосмысление достигнутого и продвижение вглубь познаваемого.

Что касается институциональности той или иной науки, то здесь существенное значение приобретают социальные конвенции, роль отдельных ярких фигур, разного рода внешние факторы и привходящие интересы. Поэтому историческое бытование науки в качестве социокультурной сферы не сводится к соревновательному сотрудничеству научных школ, но нередко протекает и в формах институциональной борьбы между ними.

Я хочу уделить внимание одному из новейших очагов такой борьбы в области теории литературы — петербургскому «литературно-теоретическому» журналу «Транслит» (редактор и наиболее активный автор — Павел Арсеньев). В 21-м выпуске, вышедшем с подзаголовком «К новой поэтике», разворачивается «новый проект прагматической теории литературы» <...>.

Утверждаемую журналом теоретическую позицию можно назвать инструментализмом, поскольку она настаивает на «инструментальном характере литературы» и основывается на внимании «не столько к значениям» литературного феномена, сколько к «собранию инструментов, делающих его возможным». С данной точки зрения литературная практика определяется техникой письма и, прежде всего, тем, каким инструментом она осуществляется: пером, ручкой, печатной машинкой или электронными средствами. Последние, как представляется «прагматическим теоретикам», должны радикально преобразить то, что до сих пор именуется литературой⁵.

Еще один аспект, кажущийся немаловажным, касается людей, именующих себя патриотами России. В августе 2015 года, после погрома на выставке Вадима Сидура «Скульптуры, которых мы не видим», автор этих строк вступила в дискуссию с одним из *православных активистов*. Текст переписки пришлось уничтожить по этическим соображениям — уж больно противно было держать в собственном компьютере, — однако свидетельствую: патриот России, с которым я дискутировала, не владеет нормами русского литературного языка на базовом уровне седьмого класса общеобразовательной школы.

Итоги наблюдений таковы. Как показывает автомобильный аргумент, в народной среде язык по-прежнему развивается вполне свободно. Образный компонент присутствует и продолжает быть значимым. Язык виртуальных пространств входит в литературный по общим законам.

Мандельштам может не беспокоиться.

Что же касается языка профессионалов, в чью сферу деятельности входит наблюдение за художественной речью, то здесь дело обстоит весьма и весьма печально. Как вернуть в Россию поэзию, доверие к художественному слову — это тяжелый вопрос, однако его и придется решать, если мы не хотим диглоссии и распада на национальном уровне.

⁵ <https://www.facebook.com/pg/voplit/posts>